

P2
A91

ВИКТОР
АСТАФЬЕВ

3

P2
A91

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ТОМ 3

ПОСЛЕДНИЙ
ПОКЛОН

889886

СРЕДНЕУЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕЧАТНИК»

МОСКВА • 1980



КНИГА ПЕРВАЯ

Пой, скворушка, гори, моя лучина.
Свети, звезда, над путником в степи.

Ал. Домнин

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СКАЗКА

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось мангазина, к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «общественным фондом». Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покуда есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он, крестьянин, хозяин, а не нищеврод.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, а зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по напользавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку — в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплотившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчала труба с опрокинутым ведром, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки — в зависимости от времени и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребяташек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребяташкой украдкой заглядывали в окно караулки и ничего не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребяташки толклись с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с ребяташками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, рядом с лесом, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает ее хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, а сама принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугушке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, а прямо из стакана, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде, ровно кривою молнией, полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно, не крестясь, откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, господи! — вздохнула бабушка, прикры-

вая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером другого дня я услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью как-то плохо играется, не то что весной. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдерживать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В вершинах сосен и лиственниц, разбросанных по быку, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она колючая, вроде шишки репья. А на этой стороне, за увалами, над Васиной избушкой, упрямо, не по-осеннему, тлела полоска зари. Но вот на нее наползла с двух сторон — из-за леса и из-за реки — плотная темнота. Зарю притворило до утра, будто светящееся окно ставнями.

Сделалось темно, тихо и одиноко.

Караулки не видно. Она скрылась в тени горы, слилась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, выдолбленном ключом. Оттуда начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни.

Я втиснулся в зауголок завозни и боялся громко дышать. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, зацокали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, а я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня вместе с темнотою страха. На селе засветились окна, к Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небе, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульным быком, пропечаталась незаполненная луна, будто неровно обкусанная половина ябло-

ка. От завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище, пискнуло что-то в завозне — и холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться и лететь до самых ворот дома и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки...

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, а кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе. Жалуется. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слышал никогда, вот и...

Музыка становится мягче, прозрачней, и слышу я, как отпускает сердце.

И кажется мне, что музыка эта течет вместе с ключом из-под горы. Кто-то припал к ручью губами, пьет и не может напиться: так иссохло у него во рту и внутри. И видится мне почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» — и плывет дальше. Зачем? Куда? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут тихо, дремлют. И еще мне видится толпа на берегу Енисея и мокрое что-то, замытое тиной, и деревенский люд по всему берегу, и бабушка с распущенными волосами, рыдающая надо мной.

Музыка эта говорит все о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, и как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, уж навсегда буду глухим, вроде нашего Алешки, и как являлась ко мне в лихорадочный сон мама и прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Кричал я на всю избу и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, и бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

Еще вот девочку помню, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить.

И опять обоз возник передо мною.

Все он идет куда-то, идет, скрывается за поворотом реки в студеных торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко как-то, пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забила живая ниточка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уже ключ, а два, три, уже грозный поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоем завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, и от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и уже не залить будет этот огонь ни ручьем, ни Енисеем — ничем не остановить страшную бурю!

«Да что же это такое?! Где же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова чего-то жаль, снова тоскует один человек, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в темноте.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой над рекой. Село уже без огней. Кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой песней скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Не про обоз же? Не о мертвой маме, не о девочке, у которой сохнет рука. О чем-то другом, очень большом. На что же это она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему хочется заплакать, как я еще никогда не плакал? Почему мне жалко самого себя, жалко тех вон, что спят непробудным сном на кладбище, и среди них под бугорком лежит моя мать, а рядом

с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где трепещет и бьется о стекла нарядной траурницей чье-то мятежное сердце.

Музыка кончилась неожиданно, будто опустил кто-то властную руку на плечо скрипача и сказал: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув боль, а выдохнув ее. Но уже помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье, у той одинокой остроиглой звезды...

Долго сидел я в уголке завозни и слизывал крупные слезы, катившиеся мне на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым и чтобы потом всем было жалко меня.

Скрипки не было слышно, и свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои начали вязнуть в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студёные листья хмеля, и над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою и сладкой березовицей. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, в избушке топилась железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата в правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь и шагнул в караулку. После того, как Вася пил у нас чай, и в особенности после музыки, после тоскливой и доверчивой скрипки, мне не так страшно было к нему заходить.

Я сел на порог и стал глядеть на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще.

— Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася несколько не удивился тому, что кто-то здесь, кто-то пришел. Как будто оно так и должно быть.

— Что хотите, дяденька.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая

Далекая и близкая сказка	8
Зорькина песня	22
Деревья растут для всех	26
Гуси в полынье	30
Запах сена	36
Конь с розовой гривой	48
Монах в новых штанах	66
Ночь темная-темная	98
Дядя Филипп — судовой механик	124
Ангел-хранитель	133
Мальчик в белой рубаше	152
Осенние грусти и радости	157
Фотография, на которой меня нет	170
Бабушкин праздник	185
Гори, гори ясно	217

Книга вторая

Бурундук на кресте	274
Карасиная гибель	300
Без приюта	330
Сорока	401
Где-то гремит война	432
Приворотное зелье	505
Соевые конфеты	533
Пир после победы	582
Последний поклон	614
Примечания	619

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения
невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской по адресу:
г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-48